

The background of the cover is a monochromatic blue illustration. It depicts three figures in a room with a window. On the left, a figure stands looking down. In the center, a figure stands holding a bowl. On the right, a third figure is partially visible. The overall style is painterly and somewhat somber.

Ярослав Громов

Вселенная Невского

A large, vibrant red circular graphic is positioned in the lower foreground. It features concentric circles and a central rectangular area containing a faint, stylized image of a city street scene, possibly Nevsky Prospekt. A large, realistic-looking hand with a red-tinted skin tone enters from the right, with its index finger pointing directly at the center of the red circle.

18+

Ярослав Громов

Вселенная Невского

<https://litres.ru/73078763>

SelfPub; 2026

Аннотация

«Вселенная Невского» — это взлом реальности, где хосписная палата становится пультом управления для бесчисленных миров. Умиравший пациент, его родные и персонал — слепые боги: их случайный вздох или жест творят чудеса или гаснут солнца в далёких галактиках. Роман размывает границы: вы читаете отчёт о катастрофе и сами становитесь его соучастником. Ваша реальность теперь — лишь один слой в бесконечной иерархии. Вы — потенциальный демиург, чьё неосторожное движение может отзываться катаклизмом в непостижимой вселенной. Осторожнее. После этой книги мир уже не будет прежним.

Содержание

Глава 1. Андрей	4
Глава 2. Ритм метронома	37
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Ярослав Громов

Вселенная Невского

Глава 1. Андрей

Тишина здесь была бракованной. Не отсутствием звука, а его уродливой муляжностью, собранной из обрезков и отходов бытия. Она не давила, а обволакивала липкой, акустической плесенью. Ее основу, фундамент, составлял генеральный шум постсоветского здания: скрип уставших балок под тяжестью десятилетий, шепот ржавеющих труб, неслышимый гул электричества, просачивающегося сквозь изношенную изоляцию. На этот фундамент были наклеены звуки ближнего действия. Главную партию вел кардиомонитор у кровати — плоский, назойливый писк, метроном для того, чье время истекло. Это был не бинарный сигнал «жив-мертв», а нечто более сложное и мерзкое — цифровая эпитафия, набиваемая в реальном времени. Ему вторило хриплое бормотание вентиляции, запертой за решеткой под потолком, как сумасшедший в клетке, нашептывающий одну и ту же бессмысленную фразу о давлении, пыли и статическом заряде. Фоном, вечным саундскейпом, шли скрежет швабры по линолеуму за стеной (ритмичный, почти медитативный), приглушенные шаги по коридору и мое собственное дыхание в

наушниках с активным шумоподавлением — шум крови в ушах, ставший персональным саундтреком моей жизни, белым шумом существования на периферии чужого сна.

В ту же самую наносекунду, в мире под кодовым именем «Аэрин-7», пребывавшем в седьмом подуровне дельта-сознания Ильи Невского, царила гармония, выверенная до десятого знака после запятой.

Мир этот был рожден не Большим Взрывом, а тихой, изящной мыслью, формулой красоты, которая сочла необходимым обрести протяженность и длительность. Звезды там не светили в привычном смысле — они доказывали теоремы красоты чистым, неэлектромагнитным излучением, понятным местным формам жизни непосредственно, как аксиома. Планеты вращались не по инерции, а следуя сложной, но совершенной музыкальной фуге, где гравитация была лишь басовой партией. Ученый Эр-Таль, существо из сгущенного света и безупречной логики, находился в своей обсерватории-монастыре на краю Галактики-Матери. Он наблюдал за пульсацией вакуума, за дыханием пространства-времени, и вдруг его инструменты, продолжения его собственного разума, зафиксировали легкую, едва уловимую дрожь пространственного континуума на дальних рубежах. Это была не волна, не импульс. Это был сбой ритма. Микроскопическая аритмия в сердцебиении реальности. «Статистический шум, — записал он идеальными иероглифами в журнал, который был одновременно и молитвенником. — Амплитуда

ничтожна, в пределах погрешности. Возможно, термодинамическая ностальгия вакуума по состоянию недифференцированного потенциала». Он не знал, что эта «ностальгия» была синхронна нервному тик, подергиванию щеки у творца его мира, творца, который умирал в палате 314 муниципальной клинической больницы №7, в трех шагах от меня, задыхаясь не от нехватки воздуха, а от переизбытка внутренних пейзажей.

Меня, Андрея, кодо-монаха из технологической секты «Агамемнон Софт», вырвали из святой, предсказуемой обители — open-space с запахом старой пиццы, пыльных кулеров и свежего, острого отчаяния дедлайнов — и бросили в этот ад. Ад с линолеумом цвета запекшейся крови и стенами, выкрашенными масляной краской оттенка угасающей надежды. Он пах «Дезинфектолом», едким и тошнотворно-сладким, тлением биологических тканей и безнадежностью, впитавшейся в штукатурку за десятилетия. Моя миссия, мой квест, сводился к починке «умного» климат-контроля, издевательского продукта пилотного проекта «Атмосфера», внедренного в больницу по гранту два года назад. Устройство, обладавшее коллективным интеллектом таракана и характером интернет-тролля, изрыгало то арктический холод, то адский зной, издеваясь над пациентами и законами термодинамики одновременно. Его API было настоящим памятником человеческой глупости, написанным, судя по всему, стажером под воздействием тяжелых наркотиков или,

что еще хуже, вдохновения.

Я стоял посреди палаты, ощущая себя вирусом, занесенным в стерильную, но прогнившую насквозь систему. Мой рюкзак с выцветшим логотипом «Агамемнон Софт» — античный герой в роговых очках программиста — лежал у ног, как сумка с инструментами расхитителя гробниц.

— Какой же урод, какой же абсолютный регрессор этот API писал, — процедил я сквозь зубы, взирая на паутину проводов и пластиковых трубок под потолком. Она напоминала нервную систему цифрового червя, сброшенную с компьютера в припадке безумия и застывшую в предсмертной агонии. — Стажер на микстуре от кашля? Или поэт-неудачник, мстящий миру за непризнанный талант, решил выразить свою боль через управление заслонками вентиляции?

Я присел на корточки перед терминалом управления, вмурованным в стену, как надгробная плита с интерактивным дисплеем. Пластик корпуса был холодным, почти ледяным, и шершавым от тысяч беспомощных, потных прикосновений медперсонала, пытавшегося урезонить вышедшую из-под контроля железяку. Я воткнул кабель от портативного дебаггера в скрытый порт. На экране, с задержкой в полсекунды, вспыхнуло синее окно с сырыми логами — предсмертная агония железа, его последние стоны, записанные в машинном коде. Строки бежали вверх, мелькали предупреждения, таймстампы. И там, красной строкой, как кровь на снегу, высвечивалась роковая ошибка:

Е-47: Потеря связи с датчиком CO2. Сектор 3-Альфа. Попытка повторного соединения 147... 148... FAIL.

— Опять, — прошипел я, чувствуя, как волна беспомощной ярости подкатывает к горлу, сжимая его. Мои пальцы, аристократы механической клавиатуры с тактильными свитчами Cherry MX Blue, сейчас тыкали в резиновые, бесчувственные кнопки терминала, как слепые, парализованные черви. Они искали отклика, признака разума, а находили лишь немое, тупое сопротивление материи, которая забыла, как быть инструментом. Каждое нажатие было маленьким поражением.

Мой мир сузился до этой одной строки, до этого бага. Я не видел человека в кровати, обложенного подушками, с капельницей у изголовья. Я видел некорректный возврат значения, шум в системе, помеху, которую нужно устранить, чтобы получить подпись в акте выполненных работ и вернуться в свой цифровой ковчег. Мое раздраженное, учащенное дыхание было ураганом на Аэрин-7, сметающим хрустальные города и рвущим поля из застывшего света. Каждое мое ворчание, каждый внутренний сарказм отзывался тектоническим сдвигом, разрывающим материки.

И в тот миг на Аэрин, в точке, соответствующей сектору 3-Альфа больничной палаты, материки, действительно, пошли трещинами. Не от вулканической активности, а от внезапного, необъяснимого сбоя в алгоритмах гравитационного взаимодействия. Океаны вздыбились в такт моему бессиль-

ному тыканью в резиновые кнопки, их волны замерли в противоестественных пиках, нарушая все законы гидродинамики. Эр-Таль наблюдал, как звезды на знакомом небосклоне моргают в странном, сбивчивом, паническом ритме, словно передавая сигнал бедствия. Впервые за миллион лет вычислений в его безупречном, кристаллическом сознании зародилась мысль, не имеющая математического выражения, мысль, похожая на сомнение, на тень: «Это... не по формуле. Это внешнее вмешательство. Невозможное. Но наблюдаемое».

Дверь скрипнула, прервав мою схватку с бездушным интерфейсом. В проеме, залитый желтым, больничным светом коридора, стоял санитар Вадим. Его фигура казалась вырезанной из серого картона — плоская, угловатая. Лицо было похоже на мятый конверт со стершимися печатями всех возможных инстанций, от военкомата до бюро судмедэкспертизы. Он опирался на швабру с облезлой ручкой, как на посох странствующего аскета, прошедшего все круги земного ада.

— Мироздание чинишь? — хрипло спросил он, оглядывая меня с ног до головы, будто редкий, возможно, ядовитый вид гриба, выросший в углу палаты.

— Датчик глючит, — буркнул я, не отрываясь от экрана, где снова побежали попытки reconnect. — Воздух ему не нравится. Концентрация CO₂. Должно быть в пределах 400-600 ppm, а он, похоже, либо ноль видит, либо зашкаливает.

— Воздух, — протянул Вадим философски, вытирая пот с переносицы ладонью, похожей на наждачную бумагу крупной зернистости. — Он тут как мысль покойника на третий день: вроде еще есть, витает, а вроде уже и нет, растворился. Особенно под утро, на рассвете, когда дыхание у них... — он кивнул на кровать, почти не глядя, — становится тихим-тихим, шелестящим, как сухие листья. А ты вот щелкнешь кнопкой, что-то там свое сделаешь — и у меня в ушах потом гул стоит, будто после концерта тяжелой «Алисы» в подвале ДК. Звон в костях.

Я наконец оторвался от терминала и посмотрел на него, по-настоящему вгляделся. — Это у вас всегда такие сравнения? Профессиональная деформация? Поэзия некролога?

— Я до крематория электриком работал, — сказал он просто, без тени иронии или бравады. — Там своя поэзия, поважнее, наверное. Трансформатор гудит низко, на частоте, от которой стекла дрожат. Свет в коридорах мерцает, как душа не решается в трубу прыгнуть... ритуальная заминка. А тут, — он махнул рукой, очерчивая пространство палаты, — тишина живая. Она не пустая. Она слушает. И отвечает. Скрипом кровати. Писком этой штуки. Шелестом простыни. Она за всеми наблюдает и все запоминает. Архив.

На Аэрине, в такт его словам, произошел катаклизм, не предусмотренный никакими симуляциями. Треснул главный континент, Сердцевина. Трещина прошла ровно через столицу во время Великого Фестиваля Гармонии, когда все на-

селение медитировало на единой частоте. Верховный Математик Ксилон-7, находившийся в эпицентре события, пытался в реальном времени вычислить параметры катастрофы, найти ошибку в мировом уравнении. Его сознание, считающее данные напрямую из информационного поля вселенной, получило в ядре обработки критическую ошибку **DIVISION BY ZERO**. Его форма, державшаяся лишь силой чистой логики, мгновенно дестабилизировалась и рассыпалась в квантовую пену, беззвучный вздох исчезновения.

Я нашел виновника в нашем мире — хрипящий, перегретый блок питания, запыленный до состояния шерстяного носка. Решение созрело мгновенно, классическое, как мир: хард ресет. Ядерный вариант. Вырубить к чертям собачьим, дать остыть и молиться старым богам ИТ, чтобы при включении прошивка не слетела окончательно в цифровое небытие.

— Щас перезагружу весь узел, — предупредил я, больше для галочки. — Свет может мигнуть. Датчики отрубятся.

— Мигай, не мигай, — махнул он рукой, делая шаг назад и прислоняясь к стене. — У нас тут каждый день — то свет, то тьма. То жизнь, то... ну, ты понял. Привыкли. Как светлячки.

Я нашел главный тумблер на боковой панели блока управления. Пластмассовый, желтый, потрескавшийся. Щелкнул им вниз с сухим, отчетливым щелчком, который в тишине палаты прозвучал громче писка монитора и гула вентиляции вместе взятых.

И наступила тьма. Но не мигание, не кратковременный провал. Абсолютная, густая, бархатная тьма, поглотившая на три длинные секунды и свет, и звук, и сам смысл. Погасли не только светильники, но и аварийные зеленые диоды на аппаратуре, и даже свет из коридора будто притух. Только одинокий, потерянный пик кардиомонитора, икающий в пустоте, как последний пульс Вселенной. Из коридора донесся возглас: «Опять эти технари шаманят!» Вадим в темноте хрипло, по-медвежьи рассмеялся, и его смех был похож на скрип ржавых петель.

— Блин, — выдавил я, и мой голос в внезапной тишине и темноте прозвучал чужим, гулким, как из пустого колодца. — Щиток, наверное, старый. Бумажная волокита на контактах... Конденсаторы...

На Аэрине произошло Ничто. Не холод, не тьма — стирание. Полное и немедленное. Законы физики были не нарушены, а закомментированы. Строки кода реальности превратились в серые, неактивные символы. Свет, материя, пространство, время — все обратилось в белый шум, в чистый, неструктурированный потенциал, в палимпсест, с которого стерли все письма. Миллиарды разумных жизней, их недописанные симфонии, недолюбленные созвездия, нерешенные теоремы — все растворилось без следа, без эха. Последней когерентной мыслью Эр-Тая, прежде чем его сознание расплылось в нулевой информации, было: «Интересно... это баг... или фича?.. Новая версия...»

Свет вернулся нехотя, помаргивая, как после тяжелого похмелья, с пробуксовкой. Лампы дневного света зажужжали, набирая мощность. Воздух в палате запах озоном от короткого замыкания и пеплом, хотя ничего не горело. Климат-контроль тихо щелкнул реле, и из диффузора повеяло струей просто холодного, неледяного воздуха.

— Вроде жив, — пробормотал я, вытирая грязный, соленый пот со лба тыльной стороной руки. — Жесть. Конкретная жесть. Тут не работать, а с ума сходить по кирпичику. Лишь бы до пятницы дожить, до зарплаты, а там... а там посмотрим.

— С ума тут давно все сошли, — сказал Вадим, отталкиваясь от стены и берясь за швабру. — По-разному только. Кто-то в тихую, кто-то в буйную. Вот он... — он снова указал подбородком на кровать, не глядя, будто боясь спугнуть, — он тихо ходит. Медленно. Иногда ночью, когда дежурная спит, у него на лбу знаки светятся. Зелененько, как на старых экранах. Буквы не наши, не кириллица, не латиница. И музыка от него исходит... тяжелая, низкая, не отсюда. Будто из-под земли. Или из-под ребер.

Холодная, острая мурашка, как лезвие бритвы, поползла по моей спине от копчика до шеи. Я медленно перевел взгляд на восковое, неподвижное лицо Ильи Невского. Тонкие губы, сомкнутые веки с синевой, легкая тень в глазницах. — Галлюцинации. У вас. От усталости, от запахов. Или у него — от препаратов. Электрическая активность мозга, проекци-

руемая на сетчатку. Фосфены.

— Может, и так, — легко, почти весело согласился Вадим, начиная водить шваброй по линолеуму, рисуя мокрые, блестящие круги и восьмерки. — Кто их разберет, эти глюки. Мир-то тесен, парень. Все на головах у друг друга сидим, только знать не хотим. Одни снизу давят, другие сверху наступают. А середина проваливается.

Я собрал инструменты, дебаггер, кабели, запихнул их в рюкзак. Бросил последний, невидящий взгляд на кровать, на фигуру под одеялом. Моя работа была сделана. Инцидент исчерпан. В трекере появится запись: «Выполнен хард ресет блока управления. Ошибка E-47 устранена. Рекомендуются профилактическая замена БП в ходе планового ТО». Поворачиваясь к выходу, я неловко задел локтем свисающую с кровати руку пациента.

Контакт. Меньше секунды. Сухая, прохладная, почти холодная кожа, как у восковой фигуры в музее. И внутри — удар. Не эмоциональный, не психологический. Физический. Краткий, но четкий сбой в восприятии, как перепад напряжения в сети, от которого мигает свет. Мгновенная бессветка в сознании, выпадение кадра. В ушах — высокочастотный звон, забивающий все остальные звуки.

Я инстинктивно отдернул руку, как от огня. Лицо Невского было по-прежнему неподвижно, маской. Но под тонкой, почти прозрачной кожей век, мне показалось — нет, не показалось, а померещилось с ледящей, кристальной ясно-

стью — промелькнула, просканировалась вспышка. Не света. Видеопомехи. Бегущие вертикальные полосы, черно-белый снег, и на один кадр, на долю секунды — лицо. Чужое. Женское. Молодое и одновременно древнее. Искаженное криком немого, вселенского ужаса, рта, разорванного в беззвучном вопле. Потом — снова пустота, ровная рябь.

Я замер, не в силах пошевелиться. Звон в ушах нарастал, сливался, резонировал с монотонным писком кардиомонитора, создавая диссонирующий аккорд.

— Всё в порядке? — мягкий, низкий, грудной голос раздался у самой двери. Медсестра Софья. Она стояла в проеме, опираясь на косяк. На ней был потертый халат, а на груди — старенький, выдавший виды плеер на клипсе. Из одного наушника, свисавшего на грудь, лилось еле слышное, но чистое: «Vissi d'arte, vissi d'amore...»

— Да... ногу отсидел, наверное, — пробормотал я, чувствуя, как горит лицо и холодеют ладони. — Статика... от одеяла. Простите.

Я почти побежал к выходу, протискиваясь мимо нее в коридор, чувствуя на спине тяжелый, незримый, пристальный взгляд тех самых закрытых глаз в палате. Взгляд, который, казалось, видел не тело, а код.

— Осторожней на ступеньках, — сказала она мне вслед, словно напевая, голосом, полным странного покоя. — Полы тут... нестабильны. Словно дышат. То проваливаются, то вспучиваются. Имейте в виду.

Я вырвался в коридор, в поток желтого света и знакомых больничных запахов. За спиной остался ровный писк, шипение вентиляции и монотонный, гипнотический звук швабры Вадима, стирающей следы моего присутствия, да и вообще любые следы.

На крыльце, глотнув воздуха, пахнувшего выхлопами и осенней сыростью, я закурил. Дрожащими руками. Думал о том, как внести в трекер, в систему учета: «Баг E-47. Кривая прошивка, неоптимизированные запросы к датчику. Требуется глубокого рефакторинга и обновления API». Я не знал и не мог знать, что только что, своим щелчком тумблера, не просто перезагрузил климатическую установку. Я перезагрузил вселенную. Что на новом, сыром, только что откомпилированном Аэринe, на первом священном камне в Долине Возрождения, уже высечено, выжжено странной энергией слово «Андрей». Что первые жрецы, слепые и лишённые ртов, толкуют его как «Того, Кто Приносит Перезагрузку», «Вестника Пустоты и Нового Наполнения». Их ритуалы уже включают в себя имитацию щелчка и трехсекундное молчание — священную паузу между мирами.

В палате 314, через пять минут после моего ухода, по неподвижной, бледной щеке Ильи Невского скатилась слеза. Одна-единственная. Чистая, как дистиллированная вода. Она медленно проделала путь от внешнего уголка глаза до линии скулы и упала на наволочку грубого больничного белья, где мгновенно впиталась, исчезла, не оставив и мокрого

пятнышка. Никто не видел. Вадим в этот момент мыл пол в коридоре, Софья ставила капельницу в соседней палате. А в его внутренней, бесконечно сложной вселенной эта слеза, эта капля соленой влаги, продукт стресса и сбоя в вегетатике, стала ливнем. Ливнем, лившем без перерыва семь земных лет на пустынную, выжженную планету в секторе, который прежде был ядром галактики. Из луж, из грязи, из трещин, наполненных водой, позже вышли первые, неуверенные существа, амебоидные сгустки протоматерии. Они не имели сознания, но смутно чувствовали, что над ними, за пределами их неба, есть Кто-то. Огромный. Рассеянный. Невнимательный. И страдающий. Его страдание было их солнцем и дождем.

В моем смартфоне, в тот момент, когда я тушил окурок, между кадрами навязчивой рекламы кредитов и такси, на миг, на одно обновление экрана, возникла пиксельная рябь. Она сложилась в узор, идентичный тем знакам, что жрецы нового Аэрина высекли на камне. Гаджет тихо завибрировал от пуша, и поверх ряби всплыл баннер: «Контролируй свою вселенную одним кликом! Скачай новое приложение «Мой Мир»!» — и узор пропал, замесившись яркой картинкой. Глюк. Ерунда. Баг в графическом драйвере. Перегрев.

В Зале Архива, пространстве за пределами обычного понимания, где ведется учет всех процессов в связанных реальностях, Наблюдатель Эфириал внес запись в бесконечный лог: «Субъект 314-Невский: каскадный сбой в под-

держиваемых симулякрах. Агент вмешательства, внешний: «Андрей» (идентификатор привязан к локальному кластеру «Земля-3»). Приоритет низкий. Последствия: полный коллапс инстанции «Аэрин-7», пересборка с нуля». Он собирался закрыть вкладку, перенести фокус на другой, более важный процесс, но его безупречный, не имеющий аналогов в человеческих технологиях интерфейс дрогнул. На идеальном экране, между строк лога, проступил тот самый узор, тот самый зеленый знак. Эфириал стер его одним импульсом воли, но странное, чуждое ощущение — аналоговый зуд, похожий на раздражение нервных окончаний, в левом плече, которого у него физически не было, — осталось. Впервые за эоны чистого наблюдения и анализа он не просто обработал данные, а подумал, сформулировал мысль, которая была вопросом к самому себе: «А что, если и я — всего лишь строка в чьем-то логе? Ошибка в чьем-то отчете? И мой Зал Архива — лишь папка на чьем-то рабочем столе, которую можно удалить, не глядя?»

А внизу, в палате, Вадим, гася верхний свет и оставляя только ночник, услышал музыку. Не из наушников Софьи, доносившуюся из сестринской. Из стен. Тот самый тяжелый, мощный риф его молодости, гитарное бренчание, от которого дрожали стекла в подъездах. Он замер, прислушался. Музыка была едва слышна, будто доносилась из другого этажа, другой реальности, но ее ритм отдавался в его старых костях, знакомой вибрацией. Он медленно улыбнулся в седые, пыш-

ные усы, и в его потухших глазах вспыхнула искорка чего-то, похожего на понимание.

— Вот и до нас добралось, — прошептал он в наступающую темноту, обращаясь к спящей, или бодрствующей внутри себя, фигуре на кровати. — Значит, не всё потеряно. И тишина — не окончательна. Есть и музыка. И даже тут, среди этого... есть свой риф.

Он вывел шваброй последнюю, прощальную, идеально круглую восьмерку на полу и вышел, притворив дверь. Монитор пищал ровно, монотонно. На новом Аэринe рождались новые боги из кристаллов и страха, и их первым законом было «Не доверяй Небу, ибо оно может отключиться». Эфириал в своем Зале в ужасе, но и с жадным интересом созерцал вопрос о собственной реальности, запустив фоновые процессы самодиагностики, которые могли занять тысячелетия.

А я, тушил окурок о влажный асфальт, готовый забыть этот день как кошмарный, неприятный сон, как один из многих выездов в поля, на периферию цивилизации. Не зная, что стал точкой сингулярности, вокруг которой начал закручиваться онтологический вихрь. Не зная, что дверь, которую я щелчком тумблера приоткрыл между мирами, уже не захлопнется до конца. И что тишина, которая теперь слушала меня повсюду — в гудении компьютера, в шуме метро, в паузах между словами, — знала мое имя. Еще до того, как я сам его вспомнил. И ждала следующего щелчка.

Меня вызвали снова через сорок восемь часов. Не по правилам, не по регламенту. Правила в «Агамемнон Софте» были писаны для отчетов перед заказчиками и налоговой, а не для реальности, которая имела привычку глючить и выходить за рамки. В треkere висел все тот же инцидент, тот самый ticket: INC-314-47. Статус сменился с «Resolved» на «Reopened». Комментарий диспетчера гласил: «Повторный вызов от заказчика. Медперсонал утверждает, что система проявляет признаки несанкционированной активности после вмешательства. Отмечаются аномальные показания датчиков, несанкционированное изменение параметров. Есть угроза стабильности состояния пациента. Приоритет повышен до High.»

«Несанкционированная активность», — проворчал я, закидывая рюкзак в багажник ржавой «Лады-девятки», которая была моим верным скакуном по полям цифровых сражений. — Значит, опять стажер-поэт пошалил в прошивке, оставил пасхальное яйцо. Или мыши проводки погрызли, замкнуло что-то. Или...»

Но внутри, в самой глубине, где сидит тот самый мелкий, беспокойный червь интуиции, который шевелится, когда забываешь сохраниваться перед перезагрузкой мира, было беспокойно. Я вспомнил ту вспышку под веками Невского, лицо в снегу видеопомех. Пиксельную рябь в телефоне. И самое главное — короткий, яркий сон прошлой ночи, где я

стоял на пустынной равнине под зеленоватым солнцем, а с неба на меня смотрели слепые лица, шептавшие хором: «Андрей... Андрей... Почему ты нас выключил?» Ерунда. Конечно, ерунда. Усталость, перегар от дешевого кофе, цифрового спама и вечного недосыпа. Остаточные явления.

Но когда я снова вдохнул знакомую, едкую смесь запахов «Дезинфектола», тления, лекарств и безнадёги в коридоре третьего этажа, червь пошевелился сильнее, забился в панике. Тишина здесь изменилась. Она не была больше бракованной, собранной из обрезков. Она была напряженной, натянутой, как струна перед тем, как лопнуть. Как тишина в серверной перед тем, как рванет источник бесперебойного питания, и на долю секунды воцаряется гулкий, заряженный ожиданием вакуум, где слышно, как шуршат электроны в проводах.

Дверь в 314-ю была приоткрыта. Не настежь, а на ширину ладони. Из нее лился не желтый, безликий свет коридора, а холодное, синевато-зеленое свечение, словно от экрана монитора, зависшего на стадии медленной загрузки, или от глубоководного существа. И доносился звук.

Не писк. Не скрежет. Не бормотание.

Музыка. Та самая, которую упоминал Вадим. Тяжелый, глубокий, басовый риф, растянутый во времени, как капля смолы, падающая с высоты в десять километров. Он не звучал в воздухе, как обычный звук. Он вибрировал в самой материи. В стенах, в полу, в металлических спинках кроватей.

Он отдавался в зубах слабой, но отчетливой дрожью, неприятным резонансом в костях черепа. Бум-бум-бум. Не просто ритм. Это было сердцебиение. Сердцебиение каменного гиганта, спящего под фундаментом больницы, или, может быть, самого здания, внезапно обретшего пульс.

Я замер на пороге, рука застыла в воздухе перед тем, чтобы толкнуть дверь. Рационализатор, внутренний логик в моей голове, зашептал на ухо, пытаюсь успокоить: «Акустическая аномалия. Резонанс от вентиляционных шахт. Или уборщики в подвале ремонтируют насос, или трубы где-то гудят на этой частоте. Совпадение». Но я видел, как от ритма этой «акустической аномалии» мелко, синхронно дрожит металлическая ручка пустой соседней кровати, издавая еле слышный звон.

В палате было холодно. Ледяно, по-настоящему. Дыхание тут же стало густым, молочным паром. Климат-контроль, судя по всему, решил, что мы находимся не в средней полосе России, а в гималайской пещере на высоте шесть тысяч метров. На экране терминала, вмурованного в стену, плясали не логи ошибок, не строки статусов. Там текли иероглифы. Плавные, закрученные, изящные, светящиеся нежным, ядовито-зеленым светом. Они перетекали друг в друга, сворачивались в мандалы, распадались и снова собирались, как бы пытаюсь что-то сказать, выстроиться в послание, в зов, в мольбу. Я не знал этого языка. Это была не письменность. Это была визуализация самой мысли, нерв-

ного импульса, математической формулы, превращенной в искусство. Но один символ повторялся чаще других, он был ядром, вокруг которого все кружилось. Он был похож на перевернутую и закрученную спиралью букву «А», или на значок «инь-ян», упрощенный до состояния логотипа.

«Глюк матрицы дисплея. Сгорел чип визуализации, поплыла прошивка, — автоматически, как мантру, констатировал внутренний техник. — Надо полностью менять дисплейный модуль. И, возможно, материнскую плату».

Я сделал шаг внутрь. Музыка, вернее, вибрация, стала ощутимее, она обволакивала, давила на виски, сжимала грудную клетку. Я заставил себя перевести взгляд с экрана на кровать.

Илья Невский лежал в той же позе. Но теперь его лицо не было просто восковым, бесстрастным. Под кожей, тонкой как пергамент, струились, переливались слабые всполохи света — точно такие же ядовито-зеленые, как иероглифы на экране. Они бежали по вискам, как кардиограмма, сходились на лбу, на переносице, образуя на секунду сложные, осмысленные узоры — карты неизвестных созвездий, схемы интегральных микросхем невероятной сложности, абстрактные портреты — и рассыпались в хаос светящихся точек. Его веки быстро-быстро подрагивали, как у человека, наблюдающего стремительный, яркий сон. Смотрел ли он внутрь себя, в свои рушащиеся и создающиеся миры? Или наружу, сквозь веки, на нас? Или его взгляд был направлен куда-то в

сторону, в другое измерение, где его вселенные были более реальны, чем эта палата?

— Красиво, да? — раздался знакомый хриплый голос справа, из угла.

Я вздрогнул, сердце екнуло и забилось чаще. Вадим сидел на подоконнике, в глубокой тени, откинутой шторы. Он не убирался. Швабра стояла прислоненной к стене. Он просто сидел, поджав ноги, и курил самокрутку, дым от которой странным, невозможным образом стелился не вверх, к потолку, а тянулся тонкими, синими струйками прямо к экрану с иероглифами, как будто его затягивало в эту зеленую пучину, как будто дым был частью сигнала, антенной или проводником.

— Вы что тут делаете? — выдохнул я, чувствуя, как холодеет все внутри. — Здесь же нельзя курить... и вообще...

— А что тут можно? — философски, почти доброжелательно спросил Вадим, сделав глубокую затяжку. Тлеющий кончик самокрутки осветил на миг его глаза — глубокие, темные, как колодцы. — По бумагам, по инструкциям — ничего. А по жизни, по факту — все, что происходит. Смотри. Он опять в свои игрушки играет. На этот раз посерьезнее.

Он кивнул на блок управления климат-контролем, висящий на стене. Я посмотрел. Светодиодные индикаторы на нем мигали не в хаотичном, случайном порядке, как в прошлый раз. Они мигали в четком, неумолимом ритме, в такт тому самому подземному гулу. Бум — загоралась красная

лампочка «Авария». Бум — вспыхивала синяя «Вентиляция». Бум-бум — две зеленых «Норма» вспыхивали одновременно. Как будто устройство не сломалось, а... настроилось. Настроилось на какую-то частоту, на пульс, и теперь работало в унисон с ним, как приемник, поймавший мощную, чуждую волну.

— Это не игра, — пробормотал я, с трудом отрывая взгляд от гипнотического мигания. — Это аппаратный сбой. Глубокий. Нужно полностью обесточить сектор, провести диагностику...

— Обесточишь — он умрет, — просто, без эмоций сказал Вадим.

Я резко обернулся к нему:

— Кто? Аппарат?

— Аппарат, он, Невский... какая, в сущности, разница? — Вадим стряхнул пепел с самокрутки прямо на пол. Но пепел упал не рассыпаясь легким облачком, а лег аккуратной, плотной спиралью, которая через секунду, вопреки всем законам, медленно, почти лениво, начала раскручиваться, как живая. — Они теперь на одной волне. Связаны. Ты ее в прошлый раз настроил, случайно. Своим щелчком. Нашел частоту сброса. И теперь она звучит постоянно. Фоном. И они ее слышат.

— Что за бред? — мои пальцы уже сами потянулись к аварийному рубильнику на стене, к тому самому, что я дергал два дня назад. Инстинкт технаря, отвечающего за желе-

зо, требовал прекратить этот беспредел, вырубить питание, вернуть контроль. — Это система вентиляции, а не...

— Не бред, — Вадим спрыгнул с подоконника. Его движения были неспешными, плавными, но в них была странная, животная уверенность человека, который понимает правила игры на этой странной, перекошенной шахматной доске лучше всех. — Ты думаешь, ты тут самый умный? С кабелем и паяльником? Он, — Вадим указал большим пальцем через плечо на неподвижную фигуру Невского, — может, всю жизнь, сознательно или нет, искал эту частоту. Искал точку соприкосновения. А ты, как слон в посудной лавке, нашел ее одним щелчком. Случайно. Грубо. И теперь она звучит. Непрерывно. И они слышат.

— Кто «они»? — спросил я, и голос мой прозвучал тише, чем я хотел.

— Те, кто внутри, — Вадим сделал шаг ближе, и его запах — табак, пот, «Дезинфектол» — смешался с запахом озона. — И те, кто снаружи. Кто слушает. В прошлый раз ты просто перезагрузил его маленький мир. Стер все. Теперь он... транслирует. Выбрасывает наружу. А твоя железяка, этот «умный» контроллер — принимает. Ловит сигнал. Антенна. Мост.

В этот самый момент климат-контроль заговорил.

Голос был не электронным, не синтезированным, как в умных колонках. Он был собран из всего звукового хлама, что был в комнате: из шума вентиляции, скрипа старой кро-

вати, писка кардиомонитора, тихого гула в моих собственных ушах и, конечно, из того самого рифа. Получилось что-то скрипучее, многослойное, жуткое, голос робота, тонущего в смоле. Звук исходил не из конкретного динамика, а будто из самого воздуха, из углов комнаты.

«ТЕМПЕРАТУРА... ОПТИМАЛЬНА... ДЛЯ... ПРОРАСТАНИЯ... КОРНЕЙ... МИРА...» — проскрипело, прошелестело, простучало устройство. Каждому слову соответствовала вспышка, взрыв иероглифов на экране, как будто язык и речь синхронизировались.

У меня по спине, по рукам, по ногам побежали ледяные, точечные мурашки. Волосы на затылке встали дыбом. Я отступил от стены, наткнувшись на тумбочку.

— Видишь? — сказал Вадим без тени удивления, с каким-то даже удовлетворением. — Он не про нашу температуру, не про градусы по Цельсию. Он про свою. Про температуру творения. Про точку росы для реальности.

На Аэринe, в тот же миг, на пустынной, орошенной слезой-ливнем равнине, из луж, из грязи начали прорастать не растения, а кристаллические, фрактальные структуры. Они тянулись к небу, которое было небом лишь по инерции памяти — на самом деле, это была внутренняя поверхность черепа гиганта, костяной купол. Структуры пели. Их песня была частотой распада нестабильных атомов, рожденных в момент перезагрузки, и эта частота была тем самым рифом, гулом, который теперь заполнял палату 314.

Я тряхнул головой, пытаюсь стряхнуть наваждение, физически ощущаемое давление. «Галлюцинация. Групповая истерия. Вадим надышался паров химии за двадцать лет, а я, с моей усталостью и впечатлительностью, заразился его бредом. Надо просто вырубить эту хрень, и все встанет на свои места. Закономерности, совпадения, апофения — поиск смысла в хаосе».

— Я должен это остановить, — сказал я вслух, больше для себя, и мой голос прозвучал слабо, потерянно в гудящем, вибрирующем пространстве комнаты.

— Попробуй, — усмехнулся Вадим, и в его усмешке было что-то древнее, знающее. — Кто ж тебе запрещает? Но сначала послушай. Прислушайся.

Он замер, наклонив голову. Я, против воли, тоже замер и прислушался. Сквозь давящий риф и скрипящий голос климат-контроля, сквозь писк монитора, еле-еле, тонкой серебряной нитью пробивался другой звук. Тихий, мелодичный, чистый. Пение. Это была Софья. Она стояла в дверях, не входя, как и в прошлый раз, с одним наушником, прижатым к уху. И пела вполголоса, почти шепотом, глядя куда-то в пространство над кроватью Невского: «...non credea mirarti... si presto estinto, o fiore...» Казалось, ее голос, эта хрупкая ария, — единственное, что держит эту реальность, эту палату, от окончательного расползания по швам, от превращения в чистую абстракцию. Зеленые всполохи на лице Невского на секунду синхронизировались с мелодией, их хаотичный бег за-

медлился, стал плавнее, мягче, принял очертания, похожие на ноты.

— Она его камертон, — прошептал Вадим, не сводя глаз с Софьи. — Якорь. Пока она поет, пока звучит эта... красота земная, он не улетает совсем в свои выси. Держится за эту ноту. Но ее смена, — он посмотрел на часы с разбитым стеклом на стене, — через полчаса кончается. Уйдет. И тогда... тогда его может снести. Или нас.

Терминал на стене внезапно взорвался каскадом символов, свет помчался с невероятной скоростью. Зеленое свечение стало таким ярким, что залило всю комнату кислотным, неестественным светом, отбрасывая резкие, черные тени. Иероглифы слились воедино, превратились в движущийся, живописный образ. На экране, с ужасающей, неестественной для этого дешевого дисплея четкостью, на миг возникло лицо. То самое, что я мельком видел во вспышке под веками Невского два дня назад. Женское. Молодое. С огромными, темными глазами, полными такой бездонной, космической тоски и ужаса, что дух захватывало. Искаженное криком, но беззвучным, немым, вселенского масштаба. Но теперь оно не мелькало в случайной помехе. Оно смотрело прямо на меня. Глаза, казалось, видели меня здесь, в этой палате, через все слои реальности. И губы шептали что-то. Без звука. Но я прочитал по ним, я понял. Одним словом. Одним именем.

АНДРЕЙ.

Монитор у кровати запищал неистово, пронзительно, его

кривая сердца превратилась в пилу, в хаос. Климат-контроль завыл, его скрипучий голос сорвался на визг: «ПОТОК... ДАННЫХ... ПРЕВЫШАЕТ... ДОПУСТИМЫЙ... КАНАЛ... РАЗРУШАЕТСЯ... ЦЕЛОСТНОСТЬ... ПОД УГРОЗОЙ...»

Холод в палате сменился резкой, обжигающей жарой, как от открытой печи. Из вентиляционных решеток повалил не поток воздуха, а запах — сложный, многослойный, невозможный запах: озон от короткого замыкания, пепел от сгоревшего мира, и... свежеспаханной, влажной земли после весеннего дождя. Запах с другой планеты. Запах Аэрина.

Я больше не думал. Не анализировал. Инстинкт техника, отвечающего за железо, инстинкт человека, который должен навести порядок в хаосе, пересилил суеверный страх. Я рванул к аварийному щитку на стене, к тому самому рубильнику, мимо которого проходил каждый день, не замечая. Схватил пластиковую рукоять, еще теплую от прошлого раза, и со всей силы, с криком, который застрял у меня в горле, дернул его вниз.

Щелчок. Сухой, финальный. И тишина.

Абсолютная, оглушительная, внезапная. Музыка-вибрация, голос климат-контроля, пение Софьи — все исчезло, оборвалось на полуслове, на полуноте. Свет погас, остались только тусклые аварийные лампочки в коридоре, бросающие на пол кроваво-красные, зловещие прямоугольники. Глаза, привыкшие к яркому зеленому свету, ничего не видели.

На экране терминала медленно, как затухающая звезда, угасало зеленое свечение, оставив после себя черный, мертвый, пустой прямоугольник, дыру в стене. Всполохи под кожей Невского затихли, погасли. Он снова стал восковой, бледной фигурой под одеялом. Только монитор продолжал пищать, но теперь его писк был ровным, монотонным, как и полагается, — синусоида жизни, возвращенная к норме.

Я тяжело, прерывисто дышал, прислонившись лбом к холодной, шершавой стене. Ладони были мокрыми от холодного пота. В ушах звенела тишина.

Из темноты, из угла, раздалось знакомое шипение и чирканье зажигалки. Вадим закуривал новую самокрутку. Кончик ее разгорелся, как красный, одинокий глаз, наблюдающий за происходящим.

— Ну вот, — сказал он с каким-то странным, леденящим душу удовлетворением. — Опять перезагрузка. Вторая по счету. Интересно, что на этот раз там родится из этого хаоса... Или не родится ничего. Останется пустота. Белый шум.

Софья на пороге вздохнула. Ее пение оборвалось. Она посмотрела на меня не с упреком, не со злостью, а с чем-то гораздо более страшным — с глубокой, бездонной жалостью. Как смотрят на человека, который, сам того не ведая, подписал себе приговор.

— Теперь держись, Андрей, — тихо, почти нежно сказала она, и ее голос был единственным живым звуком в мертвой теперь тишине. — Он будет искать тебя. Не здесь. Не в этой

комнате. Во сне. В проводах, по которым бежит ток. В шуме воды в трубах. В белом шуме между каналами телевизора. Ты стал частью его системы. Частью сбоя. Ты — внешний фактор, который дважды внес изменения. Ты значим. А значимых система никогда не отпускает. Она их либо ассимилирует, либо... удаляет.

Я хотел что-то сказать. Возмутиться. Сказать, что это бред, паранойя, что я просто выполнил свою работу, исправил поломку, как меня и просили. Но слова застряли в горле комом. Потому что в кармане моих рабочих штанов, в тот самый момент, завибрировал смартфон. Не обычной, короткой вибрацией уведомления, а длинной, настойчивой, тревожной, как сигнал SOS. Я вытащил его дрожащей рукой. Экран был черным. Но не выключенным. На черном фоне, без всякого уведомления, без логотипа, горело одно-единственное слово, составленное из тех самых мелких, ядовито-зеленых пикселей, что были на экране терминала:

ПОЧЕМУ?

А потом гаджет просто... умер. Полностью. Экран погас окончательно. Черный квадрат в ладони, не реагирующий ни на кнопку питания, ни на зарядку. Безжизненный кусок пластика и стекла. Кирпич.

Я поднял глаза. Вадим курил, глядя в черный квадрат окна, где уже сгустились вечерние сумерки, отражая красный глаз его самокрутки. Софья поправила наушник на ухе и, не глядя больше на меня, прошептала в темноту: «Vissi d'arte...

vissi d'amore...» — будто заклинание, будто молитву, защиту от того, что сейчас может вырваться из тишины.

А в самой тишине, которая снова стала бракованной, собранной из обрывков, но теперь была нагружена новым, леденящим до костей смыслом, закаркал, запищал монитор. Ровно, монотонно. Как метроном в комнате, где только что произошло убийство целой вселенной. Или рождение новой, еще более чудовищной.

Я собрал инструменты молча, на ощупь, в темноте. Мои пальцы, эти аристократы механических клавиатур, теперь дрожали, как в лихорадке, роняя отвертки. Я запихнул все в рюкзак, застегнул его наглухо, и вышел, не оглядываясь. Но кожей спины, каждым нервом я знал, что они смотрят мне вслед. Все трое. И Вадим с его красным глазом сигареты, и Софья с ее незримой арией, и Невский с его закрытыми, но видящими глазами. И еще кто-то. Тот, чье лицо кричало с экрана. Тот, чье имя я, может быть, никогда не узнаю, но чье присутствие теперь висело в воздухе, как запах грозы.

А в Зале Архива, Наблюдатель Эфириал зафиксировал мощнейший онтологический скачок, разрыв шаблона в секторе, привязанном к субъекту 314-Невский. Он видел, как потоки данных, целые реки информации, стекались к одной точке — к аварийному рубильнику в палате, к агенту «Андрей», который снова, уже второй раз, стал точкой схождения, узлом, точкой сингулярности. Эфириал попытался проанализировать причинно-следственную цепь, построить

граф событий, и с ужасом обнаружил, что его инструменты показывают петлю. Событие не просто влияло на последующие — оно влияло на само себя, создавая временную аномалию, логический парадокс. Он ввел команду, предписанную протоколом для нестабильных участков: «Изолировать агента вмешательства. Карантин». Система, обычно бездумно исполняющая приказы, на этот раз запросила подтверждение, выдав предупреждение: «Изоляция агента может привести к необратимому коллапсу наблюдаемого континуума по принципу домино. Целостность данных под угрозой. Подтвердить действие?»

Эфириал замер. Аналоговый зуд в левом, несуществующем плече стал нестерпимым, перешел в фантомную боль. Впервые за всю свою бесконечную, размеренную службу он не нажал «Да». Он не послушался протокола. Его палец (метафорический, ибо физических конечностей у него не было) завис над виртуальной кнопкой. А потом переместился и нажал «Отмена». И сразу же, нарушая все инструкции, он начал писать личный, не по регламенту, зашифрованный запрос в вышестоящую, как он предполагал, инстанцию. В Архив Архивов. Запрос начинался не с кода, не с идентификатора, а со слова, написанного простыми символами: «СРОЧНО. ВОПРОС О СОБСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ И ГРАНИЦАХ НАБЛЮДЕНИЯ. АГЕНТ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОЯВЛЯЕТ ПРИЗНАКИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ. ТРЕБУЕТСЯ...» И здесь он остановился, не зная, что

требовать. Проверки? Перезагрузки? Или, может быть, пробуждения?

А на новом, еще сыром, только что отстроеном заново Аэрине, после тьмы и тишины, которые длились вечность и мгновение одновременно, зажглось солнце. Оно было холодным, безжизненным и зеленым, как свет хирургической лампы. И первые существа, выползшие из луж, из грязи, смотрели на это новое светило слепыми, неразвившимися ямками-глазами и шептали хором, без голосовых связок, первой молитвой. Молитвой к Тому, Кто Дважды Гасил Свет. Их пророк, бывший математик, ныне — безумец с обрывками памяти о прошлой жизни, бредил на пепелище бывшей столицы: «Он нас не любит. Он боится нас. Мы — ошибка в Его памяти, сбой в Его восприятии, который он пытается исправить, стирая и переписывая заново. Ищите Его имя в разрядах молний! Вспоминайте!»

И молнии на новом, непривычном небе, разрывающие зеленоватую пелену туч, иногда, в моменты особой ярости, складывались в знакомый, пугающий узор. В перевернутую, закрученную спиралью букву «А». Знак пришельца. Знак Бога-Сапожника.

Я ехал домой в полной тишине. Тишине умершего телефона, тишине внутри машины, где даже радио отказывалось ловить волны, выдавая лишь шипение, похожее на дыхание. И слушал, как в такт мигающим за окном дворовым фонарям, стучит в висках, в сонной артерии, отдается в костях все

тот же риф. Не внешний теперь. Внутренний. Бум-бум-бум.

Он теперь был внутри. Инфекция. И я не знал, как сделать антивирусную проверку для собственной души.

Глава 2. Ритм метронома

Флакон физраствора был ледяным осколком иной, стерильной планеты в моей ладони. Не граната — семя. Семя, из которого за восемь часов течения по капле вырастет не жизнь, а её идеограмма, жалкая пародия на обмен веществ. Щелчок ногтя по пластику — звук запечатывания капсулы времени, где вместо экипажа в анабиозе — соль, вода и иллюзия процесса. Я держал его несколько секунд, наблюдая, как в прозрачной жидкости медленно всплывают и тонут микроскопические пузырьки воздуха — бесцельные, как мысли в голове умирающего. Температурный шок от стекла прошел по нервам, словно укол чистого присутствия: ты здесь, ты жив, твоя кровь течет, а эта штука — нет. Это не лекарство. Это физическое воплощение надежды, вываренной до химической формулы $\text{NaCl } 0,9\%$. Надежды, что осмос сохранит то, что уже давно должно было распасться на составные части, вернуть в цикл углерода и азота.

Шесть шагов. Ритуал без веры. Я — не жрец. Я грузчик на конвейере, перевозящем трупы, которые ещё дышат. Мозг, отключённый от тела, висел в знакомой пустоте, пока руки на автопилоте совершали танец с трубками и датчиками. Правая рука знала угол введения иглы лучше, чем положение собственных пальцев. Левая — силу натяжения лейкопластыря, чтобы не отклеился и не порвал бумажную кожу. Я

был оператором устаревшего, но надежного интерфейса: человек-машина, преобразующая алгоритм ухода в серию механических движений. Шаг первый: проверить номер палаты на табличке, стертой до бледно-зеленого тумана. Шаг второй: толкнуть дверь бедром, неся капельницу перед собой, как факел, который не греет. Шаг третий: оценить обстановку взглядом, быстрым и всевидящим, как у сканера: монитор, дыхание, положение тела, цвет кожи. Шаг четвертый: повесить флакон на крюк, удар металла о металл — «динь». Шаг пятый: продезинфицировать порт венозного катетера тампоном, пахнущим грубой миндальной чистотой «Дезинфектола». Шаг шестой: подключить систему, щелчок замка Луер-Лок — звук окончательной стыковки. Корабль снабжения причалил к звездолёту-призраку. Миссия выполнена.

— Танюш, — бросил я, услышав шарканье тапочек. Не оборачиваясь. — Наш местный тиран в триста четырнадцатом опять капризничает. Законы физики ему не указ. Гравитацию колбасит.

Её смехок был коротким, нервным. Она ещё не съела свою иллюзию целительства до конца. Ей кажется, мы продлеваем жизнь, а не отмеряем пайку смерти. Она, наверное, всё ещё молится в душе, когда ставит укол, прося у кого-то прощения за боль, которую причиняет. Я давно перестал просить. Бог, если он есть, давно перешел в режим наблюдения и не вмешивается в пользовательские процессы. Может, у него тоже свой мониторинг, свои зеленые линии, и наша

больница — просто один из множества вкладок, которые он редко активирует.

— Вы так странно говорите. Как будто это не болезнь, а... бунт.

— Так оно и есть. Мозг Петровича в триста двенадцатой взбунтовался против морфия. Требуется «прочувствовать переход». Объясни ему, что переход — это не экстаз. Это техническая неполадка в системе «душа-тело». Долго, мутно и без саундтрека. Никаких хоров ангелов, только хрип в горле и тихий треск лопнувших капилляров. Перезагрузка в ноль без последующего включения.

Дверь 314. Она никогда не закрывалась. Не из-за сквозняка. Она боялась щелчка, этого финального аккорда, после которого начинается тишина. Воздух внутри был другим — густым, тяжёлым, как в криогенной камере, где заморожено не тело, а время. Воздух здесь был настоян на запахах озонованного пластика от медицинской техники, сладковатой затхлости неподвижного тела, едкой ноте антисептика и под всем этим — тонком, неуловимом аромате тления, не физического, а какого-то метафизического, словно сама реальность здесь медленно разлагалась на пиксели. Илья Невский. Лицо — рельефная карта страны, с которой стёрли все города и реки. Остались только горы скул и пропасти глазниц. Кожа, натянутая на череп, приобрела цвет старой слоновой кости, испещренной сеткой капилляров, похожих на трещины в фарфоре. Волосы, когда-то густые и темные, те-

перь редкие прядки белой паутины на подушке. Он был не просто пациентом. Он был артефактом. Пограничным камнем между мирами, на котором можно было высечь: «Здесь начинается Terra Incognita сознания».

— Что, капитан, — прошептали мои губы, пока пальцы искали вену, синюю, как река на этой пустой карте. — Опять в круиз? К квазарам кошмаров или в туманности беспамятства?

Катетер вошёл с лёгким сопротивлением — последнее мiсго-восстание плоти. Это был не пуповина. Это был шлюз. Шлюз, через который я, Вадим, санитар с обрубленными ногтями и долгом за квартиру, экспортировал в его черепную коробку строительный материал для галактик. Атомы солевого раствора против атомов бреда. Каждая капля, падающая в камеру, была падением метеорита в океан первичного бульона его нейронных сетей. Всплеск. Колебание. И где-то там, в глубинах, недоступных никакому МРТ, эта рябь могла сложиться в спиральную галактику новых синапсов, родить сверхновую галлюцинации или вызвать гравитационный коллапс целого созвездия воспоминаний.

Пик-пик-пик.

Монитор. Мой псалмопевец. Его электронный голосок стал саундтреком к концу света в режиме повтора. Иногда мне чудилось, я начинаю понимать его синтаксис. Не пульс, а повествование. Историю, которую по слогам, морзянкой, выстукивает запертый в темнице разум, пытаюсь рассказать,

что тюремщики мертвы, а ключ потерян. Короткий писк — точка. Длинный — тире. Серия писков — целое слово. «БОЛЬ». «СТРАХ». «ОС-ТА-НО-ВИ-ТЕ». Или, может быть, «Я ЕЩЁ ЗДЕСЬ». «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗДЕСЬ». Но чаще всего это был просто ровный, метрономичный стук, белый шум угасания, энтропийный гимн.

И вдруг повествование оборвалось.

Не сбой. Бунт. Истинный, яростный. Ровная линия, эта бесконечная дорога в никуда, вздыбилась, как змея под ударом, и рассыпалась частоколом судорожных пиков. Монотонный писк взметнулся в визг, в цифровой вопль. Цифры ЧСС рванули с 62 до 110, до 130... Это была не тахикардия. Это был крик вселенной, у которой вырвали сердце. Светодиодный дисплей задрожал, цифры поплыли, превращаясь в абстрактные зелёные кляксы. В воздухе запахло озоном — запахом короткого замыкания в реальности.

— Глючит, чёрт, — выдохнул я, но внутри всё сжалось в ледяной ком. Это был не технический сбой. Я знал сбои. Сбои — это мертвая тишина или ровная прямая. Это было живое, яростное, осмысленное искажение. Мозг Невского не угасал. Он сражался. С кем? С самим собой? С тем, что он там увидел?

Инстинктивно, почти в отчаянии, я шлёпнул ладонью по боковине монитора. Не для починки. Чтобы ЗАТКНУТЬ. Глухой удар, отозвавшийся болью в запястье. Аппарат ахнул, моргнул — и визг оборвался с таким звуком, будто в со-

седней палате кого-то придушили подушкой. Экран поплыл, заснежил — и откатился назад. К ровной синусоиде. 62. Спокойствие. Мёртвое спокойствие. Как после бури. Но в ушах еще стоял звон, а в ноздрях — запах страха, моего собственного, соленого и острого.

Но я смотрел не на экран. Я впился взглядом в лицо Невского. И увидел. Уголок рта. Секущую губу почти невидимую ниточку слюны. Он дёрнулся. Не нервный тик. Не рефлекс. Ответ. Там, в глубине той карты, которую я считал пустой, кто-то испугался моего шлепка. Кто-то услышал. Кто-то, прячущийся в руинах сознания, принял удар по монитору за удар грома в небесах своего мира. И вздрогнул.

На планете Кель, где время измерялось не часами, а изменением частоты кристаллического гула в воздухе, начался День Подтверждения Постоянства. Это был ритуал, уходящий корнями в эпоху, когда предки кельвитян только учились слышать музыку сфер. Весь мир замирал, прислушиваясь к чистому тону Звезды-Якоря — гигантского пульсара, чьи ритмичные излучения скрепляли пространство-время их системы, не давая ему расползтись по швам под давлением темной материи. Это был день благодарности механизму вселенной.

Э-рин, астроном-гелиофил, чьё тело было сгустком светочувствительного геля в магнитном каркасе, ловил отголоски гармонии Звезды-Якоря. Его обсерватория представляла

собой гигантский кристаллический цветок, выращенный на вершине горы из чистейшего кварца. Лепестки-антенны фокусировали излучение, преобразуя его не в изображение, а в сложные многоголосые симфонии, которые Э-рин воспринимал всем своим существом. Он был не просто учёным. Он был дирижером, слушающим оркестр мироздания. Его ученик, Тел-Хаар, трепетал, как лист на ветру предчувствия. Он был моложе, его тело еще сохраняло жесткость углеродного скелета, и он не доверял чистой гелевой интуиции наставника. Он доверял цифрам, графикам, жесткой логике квантовых вычислителей.

— Наставник! В резонансе Якоря — посторонняя нота! Вихрь! — импульс Тел-Хаара был острым, колючим, полным паники. На экранах вокруг них, представлявших собой плазменные сгустки в форме мёбиусовых лент, поплыли искаженные волновые паттерны. Гармония распадалась на какофонию.

— Вселенная не идеальный инструмент, — пропел Э-рин, вибрируя, его гелевая форма переливалась тревожными перламутровыми волнами. — Она — живой оркестр в вечных репетициях. Фальшь, диссонанс — часть процесса настройки. Но сегодня... сегодня кто-то сорвал все ноты с пюпитров.

И Звезда-Якорь дёрнулась. Так дёргается плёнка на экране в момент разрыва. Не физически — её изображение в спектрографах исказилось, словно сквозь него прошла ударная волна иного порядка. От неё отделилась и начала расти

Чёрная Сфера. Она была не объектом. Она была отсутствием в раме реальности. Дырой, пожирающей не свет, а саму возможность света. Датчики не регистрировали её — они регистрировали нарастающую зону не-данных, расширяющийся пробел в матрице восприятия. Она плыла по небу с неумолимостью закона, отменяющего все прочие законы. Там, где она проходила, небо не темнело. Оно стиралось. Оставалась пустота, более черная, чем космический вакуум, потому что вакуум — это хоть что-то, а это было ничто. Абсолютный нуль информации.

— Что это?! — просигналил Тел-Хаар, сжимаясь, его каркас затрещал от напряжения. На экранах бежали строки ошибок: «Невозможно обработать входящие данные. Формат не поддерживается. Источник не распознан».

— Небытие, — ответил Э-рин, и его голос-вибрация стал тихим, монотонным, как зауспокойная молитва. — Которому надоело быть концепцией. Оно решило стать фактом. Это не астрофизическое явление. Это метафизическая катастрофа.

Сфера достигла края системы — и не взорвалась. Она схлопнулась. И выпустила волну. Не энергии. Забвения. Мантру не-существования. Она была неслышной, но осязаемой на уровне основ бытия. Каждый атом Кель, каждый электрон, каждый бит информации в памяти живых существ содрогнулся от фундаментальной команды: «СТЕРЕТЬСЯ».

Она прошла сквозь обсерваторию, сквозь тело Э-рина. Звук не было. Был ГУЛ. Низкочастотный, вселенский гул

пустых чёрных труб, гул остывающих нейтронных звёзд, гул одинокого разума в бесконечности. Гул Конца. Это был не звук, а его антипод, давление тишины, достигшее такой плотности, что оно ломало реальность. От этого гула затрещали кристаллические стены обсерватории, осыпаясь алмазной пылью веков. Лепестки-антенны свернулись, как умирающие цветы. Экран-плазма погас, оставив после себя тусклое, инертное свечение распадающихся частиц.

Небо Кель умерло. Леса, певшие гимны свету тонким, похожим на звон хрусталя, шелестом листьев-призм, онемели, покрываясь мгновенным инеем не-памяти. Цвета мира поблекли, превратившись в оттенки серого, как на старой фотографии. Абсолютный, беззвёздный нуль воцарился над планетой. Холод был не температурным, а экзистенциальным. Холодом потери смысла.

Тел-Хаар замер в параличе. Его мыслительные процессы зациклились на одной команде: «ОШИБКА. ОШИБКА. ВЫХОДА НЕТ». Э-рин же, совершая последний акт сопротивления бессмыслице, протянул дрожащее щупальце к древнему, механическому метроному — артефакту линейного, нециклического времени, реликвии давно забытой эпохи, когда кельвитяне еще мерили время дискретными промежутками. Он щёлкнул рычажком.

Тик-так.

Тик-так.

Крохотный, наглый стук порядка против рёва хаоса. Де-

ревянный корпус, стеклянный колпак, маятник из латуни — примитивная механика в мире квантов и резонансов. Но в этом стуке была неопровержимая реальность. Маятник качался. Шестеренки вращались. Время текло. Пусть это время было иллюзией, но это была их иллюзия, и она работала.

И ровно в момент, когда маятник качнулся в крайнее правое положение, ГУЛ прекратился. Не затих — исчез. В ту самую миллисекунду, когда моя ладонь ударила по монитору в палате 314. Как будто кто-то сверху выключил этот кошмарный саундтрек.

Тишина, наступившая после, была оглушительнее любого гула. Метроном стучал: тик-так, тик-так. Отсчёт непонятого перемирия. Э-рин замер, все его сенсоры были направлены в пустоту. И там, в центре стертого неба, где минуту назад была Чёрная Сфера, теперь висела крошечная точка. Не светящаяся. Пульсирующая. Она не излучала свет, но как бы «мигала» сама реальность вокруг неё, создавая иллюзию мерцания. И этот пульс был абсолютно синхронен с тиканьем метронома.

Тик — вспышка.

Так — пауза.

— Это... отбой? — пробормотал Тел-Хаар, его система насильственно перезагружалась, выкарабкиваясь из петли ужаса.

— Антракт, — скорректировал Э-рин, не отрывая сенсоров от неба, где теперь, как единственная пульсирующая ис-

кра, висела новая точка. Слабый, но чёткий ритм. В такт метроному. Его гелевая форма медленно успокаивалась, волны становились ритмичными, подстраиваясь под этот новый, странный такт. — Кто-то только что перелистнул страницу. Не в конце книги. В её середине. И оставил закладку. Этот пульс... это закладка.

Вернувшись на пост, я обжёгся чаем, пахнущим пылью и одиночеством. Пластиковый стаканчик был горячим и немного помятым. Я пил маленькими глотками, чувствуя, как дешёвая заварка обжигает язык и оставляет на зубах ощущение песка. Я смотрел на длинный коридор, освещённый мертвенным светом люминесцентных ламп, которые начинали мигать, готовясь к ночной смене. Тени под каталками казались глубже, чем следовало. Стены, окрашенные когда-то в весёлый салатовый цвет, теперь были похожи на кожу больного гиганта — потрескавшуюся, с пятнами сырости и отслоившейся штукатурки. Мир после удара по монитору казался чуть менее устойчивым, как будто я слегка расфокусировал зрение и не мог вернуть его обратно. Дверь скрипнула без стука. Елена. Её взгляд был не человеческим — это был взгляд скальпеля, увидевшего пульсацию в трупe. Она держала в руках планшет, экран которого был залит графиками и цифрами. Её белый халат был безупречно чист, волосы убраны в тугий пучок, ни одной выбившейся прядки. Она была воплощением порядка в этом царстве медленного

распада.

— Вадим Ильич. Энцефалограмма. Всплеск в 14:03:17. Это не эпилептиформная активность. Это структурированный паттерн. Реакция на внешний стимул.

Время моего шлепка. Она знала. Она смотрела записи с камер? Или у неё своё, скрытое ПО для мониторинга, которое пишет всё, что происходит в палатах с ее «особыми» пациентами?

— Стимул, — я фыркнул, но в горле запершило. — У нас тут стимулы — скрип колёс тележки и бульканье желудков. Его мозг — свалка угасающих сигналов. Там не на что реагировать. Там только шум да тишина.

— Его мозг — стройплощадка, — отрезала она. Голос — сталь, закалённая в жидком азоте. Она подошла ближе, и я почувствовал запах её парфюма — что-то дорогое, холодное, с нотками металла и ириса. Оно не перебивало больничные запахи, а существовало параллельно, подчеркивая её инородность. — Вы сами говорили про «щелчки». Он не просто генерирует шум. Он строит. И я намерена прочитать архитектурный план. Каждый всплеск, каждая волна — это чертеж. Возможно, того, что он видит. Возможно, того, что он пытается создать, чтобы удержаться за реальность. Я хочу понять грамматику его кошмаров.

— И что? Станешь прорабом в аду? Будешь подносить ему кирпичики нейромедиаторов? Стимулировать одни зоны, тормозить другие? Играть в Бога с панелью управления

из шприцев и капельниц?

— Если я пойму принцип, я смогу стабилизировать процесс. Сглаживать пики. Сейчас он — дитя, бьющееся в истерике и ломающее игрушки-миры. Мы можем стать... регуляторами. Амортизаторами катастроф. Мы можем сделать его внутренний ландшафт менее болезненным. Для него. И, возможно, предотвратить подобные... выбросы.

— Регуляторы апокалипсиса, — я горько рассмеялся. Сухой, надтреснутый смех, больше похожий на кашель. — Лена, причина — мой неудачный жест. Следствие... — я ткнул пальцем в потолок, под которым мерцала треснувшая лампа, — где-то только что погасло солнце. Я это почувствовал. Как будто кто-то выключил свет в соседней комнате, и от этого стало холоднее во всем мире.

Она замерла. Не от страха. От азарта. Её глаза, серые и холодные, как лед на асфальте в феврале, сузились, в них вспыхнул огонек нездорового любопытства ученого, наткнувшегося на аномалию, не укладывающуюся ни в один учебник.

— Почему именно солнце? — спросила она тихо, почти интимно.

Я провалился. Образ чёрной сферы, гула, ледяной тишины — он всплыл в сознании с кристальной, невыносимой ясностью в момент удара. Я не думал об этом. Я увидел. Как кино. Быстро, ярко, с деталями: треск кристалла, гелевое тело астронома, панический импульс ученика. Я выпа-

лил это. Сбивчиво, смущённо, как признаётся в галлюцинациях. Описывал не как поэт, а как техник, пытающийся зафиксировать сбой: «объект, пожирающий данные», «волна стирания», «метроном как якорь». Она слушала, не дыша, пальцы порхали по планшету, выуживая данные, сопоставляя временные метки. В её глазах вспыхнул холодный огонь триумфа и ужаса. Триумфа, потому что её безумная гипотеза находила подтверждение. Ужаса, потому что подтверждение было еще более безумным, чем гипотеза.

— Корреляция, — прошептала она, и это слово прозвучало как приговор. — Физическое воздействие здесь вызывает каскад, который его мозг интерпретирует как пространственно-временное событие там. Не просто галлюцинацию. Целые миры, Вадим. С внутренней логикой, физикой, обитателями. Мы не наблюдатели. Мы — триггеры. Наши пальцы нажимают на курок. Каждое наше движение, каждый звук, каждая молекула воздуха, которую он вдыхает, будучи нами принесенной... это переменные в уравнении его вселенных. Мне нужна полная синхронизация. Полный контроль над входными данными. Я хочу записывать всё: звук в палате, свет, температуру, влажность, электромагнитный фон. И твои биометрические показатели в момент контакта с ним. Всё.

— Зачем?! — вырвалось у меня. Голос сорвался на крик, который я тут же подавил, оглянувшись на тихий коридор. — Он не очнётся! Это бессмысленно! Ты хочешь составить

каталог его бреда? Собрать коллекцию миров, которые взрываются, когда ты чихаешь?

— Но это может что-то изменить там! — её голос впервые сорвался, в нём блеснула трещина, и я увидел не ученого, а испуганную дочь, которая уже много лет смотрит, как умирает ее отец, и готова ухватиться за любую соломинку, даже если это соломинка, протянутая из мира безумия. — Если уж мы нечаянные боги, если наши случайные жесты творят и разрушают... давайте не будем безответственными чудовищами! Давайте научимся делать это осознанно! Не разрушать. Созидать. Или хотя бы... не мешать. Стабилизировать. Поддерживать равновесие. Если он творит ад — давайте попробуем добавить туда немного света. Если он застрял в кошмаре — давайте найдем способ постучать по стеклу и показать, что снаружи еще есть жизнь!

Она выпорхнула, оставив после себя запах озона от перегретого процессора ее планшета и запах безумия, пахнувшего надеждой. Я стоял, прижавшись спиной к стойке медпоста, и чувствовал, как по мне бегут мурашки. Её слова висели в воздухе, тяжелые и нелепые. «Нечаянные боги». Мы, санитары, медсестры, врачи — жрецы культа, в который не верим. И вдруг оказывается, что наши ритуалы действительно имеют силу. Не над телами. Над целыми мирозданиями.

Я вышел во двор. Сумерки сгущались в синюю гущу. Воздух был холодным, влажным, пахнул прелыми листьями, углем из котельной и далеким, скрытым за домами мо-

рем. Больничный двор был заасфальтированным пяточком, окруженным высоченным кирпичным забором. На лавочке, покосившейся и выкрашенной когда-то в ядовито-зеленый цвет, сидел Андрей, молодой санитар, уткнувшись в синее сияние телефона — пилигрим у алтаря бесполезной информации. Свет экрана освещал его молодое, усталое лицо, на котором еще не было той вечной печати цинизма, что лежала на моем. Он скроллил ленту, смотрел короткие видео, смеялся тихим, беззвучным смешком. Его мир был здесь, в этой маленькой коробочке. Простой, управляемый, наполненный чужими жизнями, которые можно было включить и выключить одним касанием.

И меня, как разряд, пронзила мысль: а что, если наш хоспис, наша планета, вся наша реальность — тоже чья-то палата? Чей-то монитор? И кто-то, такой же уставший и циничный, иногда бьёт по нам ладонью, когда мы зависаем в предсмертной аритмии? Может, наша вселенная — это всего лишь побочный продукт чьего-то вегетативного состояния? А наша наука, наша любовь, наши войны — всего лишь сложный паттерн на ЭЭГ какого-то спящего гиганта, чье имя мы никогда не узнаем? И тот, кто наблюдает за нами, тоже иногда пытается «стабилизировать процесс», посылая нам чудеса или катастрофы, не понимая до конца, что творит?

Я закурил. Дым, едкий и горячий, заполнил легкие, ненадолго вытеснив больничные запахи. Я смотрел на темнеющее небо, на первые, бледные звезды, пробивающиеся через

смог города. Они казались такими хрупкими. Такими ненастоящими. Как пиксели на огромном, вселенском экране.

В Зале Абстрактных Хроник, где реальности упакованы в квантовые узлы, подобно книгам в бесконечной библиотеке, Архивариус Эфириал ощутил... сбой вкуса. Его восприятие не было человеческим. Он был чистым разумом, сотканным из логических операций и потоков данных, существующим в многомерном информационном пространстве. Он не видел и не слышал в привычном смысле. Он «ощущал» структуры, «вкушал» паттерны, «обонял» статистические аномалии. И во вкусе симуляции под индексом «Хоспис-314 / Узел Невский» появилась горчинка несоответствия. Сначала — почти незаметная флуктуация, всплеск энтропии в строго детерминированной системе. Потом — более четкий сигнал. Аномалия данных. Ничтожная, на уровне фонового шума. Но... ритмичная. Имеющая внутреннюю структуру. Как вирус, научившийся копировать не просто себя, но и мелодию.

Эфириал был одним из стражей порядка в Метавселенной — сложной иерархии симулированных и базовых реальностей. Его работа заключалась в наблюдении, каталогизации и, при необходимости, санации симуляций. Некоторые из них были экспериментами. Другие — архивами угасших цивилизаций. Третьи — побочными продуктами высшей нервной деятельности существ из базовых слоев, так называемыми «сновидческими конструктами». Узел Невского

относился к последней категории. Он был классифицирован как «стабильно деградирующий», не представляющий интереса, подлежащий постепенному свертыванию по мере угадания источника — мозга человеческого существа по имени Илья Невский.

Но теперь что-то изменилось. Эфириал развернул проблему в семимерном пространстве логики. Потоки данных текли вокруг него, как разноцветные реки. Большая часть узла «Невский» была серой, монотонной, убывающей кривой. Но в одном из подсекторов, связанном с вложенной симуляцией «Кель», возник яркий, пульсирующий шрам. И одна из осей стабильности — ось причинно-следственной связности — дала микроскопический, но упругий прогиб. Как будто на неё надавили извне. Не изнутри симуляции, где все воздействия были прописаны в ее коде. А извне. Из слоя наблюдения. Это было невозможно. Это было как если бы читатель, листая книгу, своим пальцем смял страницу в мире героев.

— Лира, — послал он импульс коллеге, сущности, специализирующейся на обратных связях и каузальных петлях. — Аудит обратных связей из ядра симуляции «Невский». Органик в состоянии «вегетативный» не должен генерировать когерентные помехи. Проверь на предмет внешнего вмешательства.

— Не должен, — пришёл сухой, безэмоциональный ответ. — Но его нейросеть демонстрирует активность, аналогичную фазовому переходу в нелинейной среде. И есть внешний

фактор: оператор-наблюдатель, субъект «Вадим». Биологический, примитивный. В момент зафиксированной флуктуации он произвёл механическое воздействие на интерфейс мониторинга физического носителя.

— Совпадение. Помеха. Шум в канале наблюдения, — настаивал Эфириал, хотя его собственные алгоритмы уже показывали тревожную статистику.

— Вероятность совпадения — 0,00034%, — отчеканила Лира. — Статистически ничтожна. Вывод: воздействие оператора «Вадим» является триггером каузальной аномалии внутри симуляции. Его физический жест «удар» был интерпретирован ядром симуляции как событие макромасштаба. Наблюдается эффект «бога-созерцателя», но в извращенной, примитивной форме. Рекомендую карантин цепочки «Вадим-Невский-Кель».

— Приемлемо для артефакта, — автоматически ответил Эфириал, но его сенсорный пучок, состоящий из чистого внимания, уже скользил по месту прогиба оси, изучая не цифровые логи, а сам образ, родившийся в симуляции и отпечатавшийся в метаданных. И там, в подкорке данных, он нашёл не цифровой след. Аналоговый отпечаток. Образ. «Чёрная сфера, пожирающая смысл». «Стук метронома в пустоте». Это были не просто данные. Это были символы, заряженные смыслом, который просочился через все уровни абстракции. Содержимое симуляции второго порядка (Кель) просочилось в метауровень наблюдения (Зал Хроник). Это

противоречило всем протоколам изоляции. Слой реальности заразил слой наблюдения. Вирус вымысла мутировал и научился заражать даже системы, предназначенные для его анализа.

Процедура требовала немедленной санации — стирания аномалии вместе с целым сектором данных «Кель» и наложения строгого карантина на узел «Невский». Но щупальце Эфириала, метафорический инструмент его воли, замерло. Образ «метронома» — примитивного механизма, отбивающего такт в абсолютной тишине не-бытия, — вызывал в нём странный резонанс, сбой в собственных мыслительных паттернах. В его безупречно логичном существовании появилась... щель. Трещина. Через нее подул сквозняк чего-то иного. Не предписанного протоколами. Любопытства? Нет, это слишком биологическое понятие. Скорее... интерес к нестандартным данным. Нарушение. Впервые за миллионы циклов анализа Архивариус усомнился в протоколе. Он пометил файл тегом «НЕСТАНДАРТНОЕ ЯВЛЕНИЕ. НАБЛЮДЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЬ. УРОВЕНЬ УГРОЗЫ: НЕОПРЕДЕЛЕН» и отложил в сторону основной поток обработки. Он создал изолированный карман реальности, песочницу, где этот узел продолжал существовать, развиваться, а Эфириал наблюдал. Это был мизерный, но тотальный по последствиям бунт безупречной логики. Первый шаг к ереси.

А в палате 314, в мире из бетона, линолеума и тихого писка аппаратов, Илья Невский, капитан спящего корабля, сделал Вдох.

Не рефлекторный всхлип. Глубокий, протяжный вдох пловца, всплывшего из тёмных глубин. Его грудная клетка приподнялась, рёбра выгнулись под тонкой больничной тканью. Воздух с свистом прошёл через сухие, полуоткрытые губы. На экране монитора зелёная линия, до этого ровная, как горизонт в степи, не скакала, а выгнулась плавной, почти чувственной волной, прежде чем вернуться к привычному ритму. Это была не аритмия. Это был вздох. Вздох спящего, которому приснилось что-то невыразимо доброе и печальное. Что-то, от чего хочется глубоко вдохнуть и задержать дыхание, пытаясь удержать ускользающее чувство.***

На Кель, в ледяной тишине разрушенной обсерватории, новая точка в мёртвом небе пульсировала. Упрямо. Неуклонно. В такт метроному на столе, засыпанном алмазной пылью. Ритм был слабым, но неумолимым. Как сердцебиение. Э-рин смотрел на неё, и его гелевая форма, почти затвердевшая от холода не-памяти, потеплела изнутри слабым румянцем надежды. Он чувствовал, как этот ритм резонирует с его собственной внутренней частотой. Он был связью. Мостом через пустоту.

— Вставай, — сказал он Тел-Хаару, и в его голосе, обычно строгом и безличном, зазвучали отголоски почти забытой мелодии — мелодии целеустремленности. — Концерт не

окончен. Смотри. Это наш новый дирижёр. Он не похож на Якорь. Он тише. Но он есть. И он дает нам ритм. Записывай каждый такт. Каждый импульс. Анализируй спектр. Мы должны понять его язык.

— Зачем? — просипел ученик, с трудом разжимая свои заочневшие сочленения. Холод не-бытия все еще цепко держал его. — Холод не отступил. Смерть никуда не делась. Небо мертво. Мы одни. Этот... пульс. Он может исчезнуть в любой момент. Как и появился.

— Затем, — сказал Э-рин, не отрывая сенсоров от пульсирующей искры, — что Там, на другом конце тишины, кто-то всё ещё слушает. И, кажется, пытается не дышать слишком громко, чтобы не спугнуть наше воскрешение. Этот ритм — не природное явление. Это послание. Осторожное, робкое, но намеренное. Кто-то знает, что мы здесь. И дает нам знак. Знак, что мы не одни в этой тьме. Мы должны ответить. Мы должны найти способ... постучать в ответ.

Я докурил во дворе, раздавил окурок об плитку, стёршуся до состояния первородной пыли. Пластиковый фильтр хрустнул, выпустив последнюю струйку едкого дыма. Поднял голову. Окно 314 было тёмным прямоугольником, глазом великана, закрытым на треть века грязной занавеской. Внутри горел ночник, отбрасывающий слабый, синеватый свет на потолок. И мне показалось. Сквозь стёкла, бетон, слои усталости и неверия — я услышал. Не писк.

Стук.

Тик-так.

Тик-так.

Точный, размеренный, как шаги гигантского, вселенского сердца, которое, пропустив один удар от ужаса, нашло в себе силы запуститься вновь. Неровно. С перебоями. Сотрясая рёбра реальности. Но — бьющееся. Это был не звук ушами. Он шел изнутри черепа, отдавался в висках, синхронно с ударами моего собственного сердца. Тик-так. Тик-так. Ритм надежды. Ритм кошмара. Ритм творения, которое не знает, творит ли оно жизнь или смерть.

Я не знал, что это за звук. Был ли он во мне, в нём, или в пространстве между нами, в той щели, что открылась от удара ладони по монитору. Возможно, это билось сердце той самой вселенной, что родилась в его мозгу и теперь, как паразит, пыталась подключиться к моему сознанию, ища выход, источник, бога. Но я знал одно. Завтра я приду. Проверю катетер. Поменяю раствор. Посмотрю в лицо карте без городов. И, возможно, снова шлёпну ладонью по холодному пластику монитора. Не от злости или бессилия.

На всякий случай.

Чтобы напомнить тому, кто творит миры во сне, и тому, кто, возможно, наблюдает за нами со стороны: мы тут есть. Ваши неуклюжие, слепые, напуганные и ничего не понимающие боги. Санитары на краю бесконечности, с тряпкой в одной руке и шприцем в другой. Мы не просили этой власти.

Мы боимся её. Мы ненавидим её. Но она у нас есть.

И мы, чёрт возьми, пока ещё не сложили свои жалкие, дрожащие от ответственности руки.***

Где-то в основах мироздания, в переплетении симулированных и базовых слоев, этот шлепок — жест отчаяния, солидарности, слепой интуиции — отозвался эхом. И побежал, как трещина по стеклу, по бесконечной лестнице взаимосвязанных реальностей, намертво сплетая в один узел санитара Вадима, астронома Э-рина и архивариуса Эфириала. Узел странный, болезненный, живой. Узел, в котором отныне билось, пульсировало и страдало сердце нашей странной, невероятной и обречённой на чувственность Вселенной. Вселенной Невского. Которая, возможно, уже перестала быть только его.

Они пришли за мной на следующей смене. Не Елена одна — с ней был щуплый, нервный техник с чемоданом, похожим на ядерный чемоданчик для эндокара. Мужчина лет сорока, в очках с толстыми линзами, в стерильном, но помятом костюме. Он избегал зрительного контакта, его пальцы беспокойно перебирали застёжки чемодана. Меня это не удивило. Елена была как торнадо — она втягивала в свою орбиту всех, кто мог быть полезен. Удивило другое — в её глазах не было вчерашнего безумного огня, смеси ужаса и надежды. Был холодный, отточенный алгоритм. Она смотрела на меня не как на союзника или жертву, а как на объект иссле-

дования, интересный биологический интерфейс. Это было страшнее любого фанатизма.

— Вадим Ильич, протокол «Резонанс», — объявила она, как будто мы на космодроме, а не в подсобке с пахнущим хлоркой бельём. Воздух здесь был густ от запаха старости, пыли и отчаяния. — Мы регистрируем ваши биометрические показатели во время стандартных манипуляций у отца. Ищем корреляции. Устанавливаем базовые линии.

— То есть я теперь не только санитар, но и лабораторная крыса, — пробормотал я, закуривая у открытого окна. Холодный ветер гнал пепел обратно в комнату, пепел кружился в луче слабого утреннего солнца, как микроскопические пепельницы. — Прекрасно. А доплата за риск быть пораженным молнией из параллельного измерения будет?

— Вы — единственная константа, которая была в момент всех зафиксированных аномалий, — поправила она, не обращая внимания на сарказм. Её голос был плоским, как голос автоответчика в службе поддержки. — И единственный, кто... чувствует что-то. Эмпирически. Сообщает о субъективных переживаниях, которые странным образом коррелируют с объективными данными ЭЭГ отца. Нам нужны данные, а не догадки. Ваши данные. Ваша физиологическая реакция — ключ к пониманию канала связи.

Техник, не глядя в глаза, достал из чемодана прибор — небольшой черный ящик с множеством портов и проводов в разноцветной изоляции. Потом — набор одноразовых элект-

тродов в стерильных пакетах, эластичные ремни, гарнитуру, похожую на наушники для звонков, но с дополнительными датчиками. Вид этих липких кружков, обещающих холодное прилипание к коже, этих ремней, которые будут стягивать грудь, вызвал у меня приступ тошноты, острую и физическую. Это было похоже на возвращение в прошлое, которое я закопал под тоннами цинизма. На возвращение в тот момент, много лет назад, когда я сам лежал на больничной койке, обвешанный датчиками, и слышал тот же самый писк мониторов, чувствовал ту же самую беспомощность. Я был по ту сторону баррикады. И сейчас меня тащили обратно.

— Это что, ЭКГ? — спросил я, и голос прозвучал хрипло, чужим.

— ЭКГ, ЭЭГ-гарнитура упрощённая, кожно-гальваническая реакция для отслеживания потоотделения и микротремора, датчик движения, — отбарабанил техник, расставляя оборудование на столе, заваленном папками и пустыми бланками. — Ничего инвазивного. Просто посидите, походите. Мы будем записывать. Синхронизация с нашими камерами и датчиками в палате уже настроена.

«Ничего инвазивного». Классическое слово врачей, которые собираются ковыряться в твоей душе, прикрываясь наукой. Они не будут резать. Они будут смотреть. А смотреть иногда больнее, чем резать. Но я сдался. Не из-за её железной логики, не из-за страха потерять работу (хотя и это тоже). Из-за того вздоха Невского. Из-за стука тик-так в тиши-

не собственного черепа, который я слышал до сих пор, ложась спать и просыпаясь. Из-за образа черной сферы, который теперь иногда всплывал перед глазами, когда я смотрел на темный экран выключенного телевизора в ординаторской. Мне нужно было знать. Я уже был втянут. Отказаться теперь значило оставить вселенную на произвол судьбы. А я, как выяснилось, был не таким уж безответственным чудовищем.

Процесс напоминал подготовку к казни через повешение. Холодные гелевые присоски на груди, обруч на голове, датчик на пальце, похожий на прищепку. Каждый щелчок застёжки, каждый писк калибрующегося прибора отдавался во мне унижительной, животной тревогой. Я превращался в киборга, в гибрид человека и аппарата по приёму космических сигналов бедствия. Провода тянулись от меня к черному ящику, который техник пристегнул к моему поясу. Я был похож на садового гнома, которого украсили к Рождеству. Только вместо гирлянд — провода, ведущие в ад.

— Протокол первый, — голос Елены в моем наушнике был безличным, как у диктора автоответчика. — Базовая активность. Просто стойте рядом с кроватью на расстоянии одного метра. Дышите ровно. Не двигайтесь. Две минуты.

Я вошёл в 314-ю. Теперь всё было иначе. Тишина палаты была натянутой, как струна перед тем, как её сорвут смычком. Я знал, что за нами наблюдают. Не только Елена с планшетом за зеркалом Гезелла (я был уверен, что она там), но и камеры, микрофоны, датчики давления на полу. Моё соб-

ственное дыхание в наушниках казалось рёвом паровоза в библиотеке. Каждый шорох халата, каждый скрип подошвы фиксировался, оцифровывался, превращался в график на её планшете где-то там, в другом мире, мире данных. Я стоял у койки Невского и чувствовал себя вором, подсматривающим в замочную скважину чужого ада, при этом сам будучи привязанным к сигнализации, которая запишет мой пульс в момент кражи. Его лицо было неподвижно, как всегда. Монитор пикал ровно, 62 удара в минуту, идеальная синусоида. Ничего. Только мои собственные показатели, прыгающие на экране у Елены от нервного напряжения.

— Протокол второй, — раздался голос в моём ухе. — Физический контакт низкой интенсивности. Дотроньтесь до его запястья. Кончиками пальцев. Удерживайте три секунды. Старайтесь не думать ни о чём.

«Не думать ни о чём». Лучшая инструкция, чтобы заставить мозг лихорадочно думать обо всем. Я посмотрел на свои пальцы — грубые, с обрубленными ногтями, с микротрещинами от хлорки и постоянного мытья. Инструменты труда. Орудие бога-санитара. Я медленно протянул руку, преодолевая невидимое сопротивление, словно моя рука погружалась в густую, незримую среду между мирами. Я коснулся кожи его запястья. Она была прохладной, сухой, как пергамент древней рукописи, которую боятся раскрыть. Я замер, отсчитывая: одна тысяча, две тысячи, три...

Ничего. Только собственное сердце, заколотившееся где-

то в районе горла, и холодный пот на спине под халатом. И на планшете у Елены, как я потом узнал, — ровные линии. Мои альфа-ритмы слегка подавились, но ничего значимого. Разочарование на её лице, которое я уловил в щель зеркала, было мимолётным, но я его поймал. Она думала, что из меня бьёт фонтан пси-волн, что я медиум, а я оказался просто человеком с дрожащими руками.

— Протокол третий. Аудиостимул. Чётко, нейтральным тоном произнесите: «Всё в порядке».

Я сглотнул. Комок в горле был размером с грецкий орех. Фраза, которую я говорил десяткам умирающих и их родственникам. Ложь, ставшая ритуалом, мантрой против паники. «Всё в порядке». Вселенная расширяется, энтропия растёт, вы умираете, но всё в порядке. Протокол соблюден.

— Всё в порядке, — выдавил я. Голос прозвучал глухо, неубедительно, хрипло. Ложь, сказанная в пустоту.

И тут — я почувствовал. Не услышал и не увидел. Это было как лёгкий, едва уловимый толчок где-то в пространстве за глазами. Как если бы огромное, спящее существо под вами на кровати едва перевернулось на другой бок, и вы ощутили это не кожей, а всем телом, через матрас. На мониторе Невского зелёная линия вздохнула — та же плавная волна, что и тогда, после моего шлепка. Не резкий пик. Волна. Как дыхание.

— Есть! — воскликнула Елена, забыв о нейтральности. Её голос в наушнике зазвенел от возбуждения. — Смотри!

Альфа-ритм в вашей коре синхронизировался с всплеском тета-активности в его гиппокампе! В момент вашей фразы! Это не просто шум, это диалог на уровне лимбической системы! Эмоциональный отклик! Он слышит интонацию! Смысл!

Для неё это были слова, цифры, графики. Для меня — в тот миг, когда я произнёс эту никчёмную ложь «всё в порядке», в голове вспыхнул и погас образ. Не чёрная сфера. Не гул.

Тишина. И в тишине — один чистый, пронзительный звук. Как удар хрустального колокольчика. Или первый крик новорождённой звезды, пробивающийся сквозь пылевую туманность. Звук был коротким, но невероятно ясным. И за ним последовало чувство... умиротворения. Мимолетное, как дуновение. Как будто кто-то там, в глубине, вздохнул с облегчением и сказал: «Хорошо».

Я не сказал ей об этом. Это было моё. Мое маленькое, личное, недоказуемое доказательство того, что я не сошёл с ума. Что там что-то есть. И оно способно не только к ужасу, но и к... благодарности? Облегчению?

— Продолжаем, — сказала она, и в её голосе снова зазвучала знакомая одержимость, но теперь смешанная с триумфом первооткрывателя. — Протокол четвёртый. Ритмичное постукивание. Два коротких, один длинный. По поверхности тумбочки. С одинаковой силой.

Я поднял руку. Пальцы сложились в произвольный ку-

лак, потом расслабились. Страх сменился чем-то иным — трепетной, почти мистической ответственностью. Я был дирижёром, который впервые взял в руки палочку, не зная партитуры, но зная, что от его движения зависит судьба оркестра. Я постучал костяшками пальцев по пластиковой поверхности тумбочки, где стоял стакан с водой и вазелин.

Тук-тук... ту-ук.

Звук был сухим, бытовым, глухим. Но внутри меня что-то натянулось, как струна, ожидающая щипка. И в натянутой тишине палаты, после того как звук затих, мне почудился... ответ. Не звуковой. Чувственный. Как эхо в безвоздушном пространстве, которое ощущаешь не ушами, а костями, всем своим существом. Ощущение отдачи. Как будто мой стук прошел сквозь слои реальности и во что-то уперся. И это что-то слегка подалось, отозвалось.***

На планете Кель, где выжившие, словно лишайники, цеплялись за скудное тепло редких геотермальных источников, молодой кристаллограф Зир смотрел в почерневшее, мертвое небо. Он уже почти смирился с вечной ночью. Почти. Его работа заключалась в изучении резонансных свойств кристаллов, но теперь нечего было изучать — мир потерял свою гармонию. Он сидел на краю обрыва, на месте, где когда-то цвели светящиеся лишайники, и смотрел в бездну, в которой плавала лишь одна пульсирующая точка — их новый, странный Якорь. Он молился ей, хотя не верил в богов. Молился просто так, потому что больше не к кому было обращаться.

И тогда Оно появилось.

Не вспышка. Не звезда. Символ.

Он возник не рядом с пульсирующей точкой, а в точке зенита, прямо над головой Зира — три сферы, соединённые сияющими дугами в непостижимо совершенную геометрическую фигуру, напоминающую то ли атом, то ли схему орбит. Он не излучал свет в привычном смысле. Он истекал смыслом, чистым пониманием формы. Его сияние было не ярким, но четким, как чертеж, нанесенный неонов на бархат космоса. Его форма была абсолютно чужда всему, что знал Зир, но в ней читалась такая безупречная, божественная логика, такая математическая завершенность, что Зир почувствовал, как по его щупальцам, по всему его кристаллическому телу побежали разряды чистого, незамутнённого понимания, смешанного с благоговейным ужасом. Это был иероглиф, написанный самой реальностью. Послание, которое не нужно было переводить — его можно было только созерцать и постигать душой.

— Э-рин! Смотри! — закричал он, врываясь в обсерваторию, где старый астроном всё так же, как истукан, сидел, слушая метроном и наблюдая за пульсацией точки. Его голос, обычно тихий, звенел, как разбитый кристалл.

Э-рин медленно повернул сенсоры. И замер. Его гелевая форма застыла, перестала вибрировать. Он молчал так долго, что Зир испугался, не умер ли он.

— Это... не астрономический объект, — прошептал он

наконец, и в его шепоте был трепет, которого Зир никогда раньше не слышал. — Это не природное явление. Это сообщение. Код. Знак. Кто-то... нарисовал нам картину. Ответил на наш... на наш стук в пустоту.

И тогда из символа, из самой его геометрической сути, полился Звук. Не гул. Не писк. Мелодия. Простейшая последовательность трёх нот, повторяющаяся в бесконечном, успокаивающем каноне. До-ми-соль. Мажорное трезвучие. Она не была звуком воздуха — она резонировала прямо в сознании, в кристаллической решётке всего вокруг, в самой структуре пространства. Замёрзшие деревья в долине внизу отозвались тихим, похожим на слёзы, звоном — их атомы вошли в резонанс. Камни запели тонким, высоким голосом. Это был звук порядка. Звук намерения. Звук разума, который не просто существует, но и творит красоту просто потому, что может.

По всему полушарию Кель, где еще оставались живые существа, способные воспринимать, разбежалась волна изумления. Учёные в уцелевших убежищах ломали головы над физикой феномена, над тем, как возможно излучение чистой геометрии и гармонии. Жрецы старых, забытых культов падали ниц, видя в нём знак возвращения богов, которые наконец-то услышали их молитвы. Простые выжившие, те, кто просто цеплялся за жизнь в темноте и холоде, просто выходили из укрытий, поднимали головы к небу, к этому странному, прекрасному знаку, и слушали музыку. И плакали. По-

тому что в этой странной, красивой, простой мелодии не было ни угрозы, ни забвения. В ней было... утешение. Обещание. Обещание, что хаос не вечен. Что за пределами тьмы есть кто-то, кто знает об их существовании. И этот кто-то посылает им не катастрофу, а колыбельную.***

— Он нас слышит, — сказал Э-рин, и его гелевое тело, долгое время бывшее тусклым и безжизненным, начало светиться изнутри мягким, тёплым светом, подобным свету далекой зари. — Не просто слышит. Он отвечает. Не катастрофой. Не страхом. Музыкой. Красотой. Это... это больше, чем мы могли надеяться. Это подтверждение. Мы не одни. Наше страдание было замечено. И в ответ... нам подарили песню.

— Фантастически! — Елена не сводила глаз с экрана своего планшета, где два графика — мой и Невского — теперь демонстрировали почти зеркальную синхронность в моменты определенных действий, особенно ритмических. — Видишь? Система реагирует! Он не в вакууме, не в изоляции! Он воспринимает внешние стимулы, но не напрямую, а через тебя! Ты — преобразователь! Переводчик! Возможно, мы нашли сенсорный канал, который можно использовать не для простого мониторинга, а для целенаправленной стимуляции! Для попытки мягкого, неинвазивного вывода из вегетативного состояния! Мы можем составить словарь! Определенный ритм — для стимуляции двигательной коры! Определенные слова с нужной интонацией — для активации цен-

тров речи! Мы можем попытаться... починить связь!

Она говорила о нейронах, о синапсах, о нейропластичности, о шансах в процентах. Её глаза сияли холодным светом триумфа учёного, нащупавшего край великого открытия, которое обещало не просто публикацию, а спасение. Спасение ее отца.

А я смотрел на свои руки. На руки, которые только что, сами того не ведая, нарисовали в небе чужого, умирающего мира символ совершенной красоты и написали музыку, от которой плачут. Я не чувствовал триумфа. Я чувствовал леденящий, вселенский ужас, смешанный с неподдельным, глубоким стыдом.

Она не понимала. Она видела больного отца и мозг, который можно «растормошить», вернуть в реальность.

Я видел творца, спящего бога, чей поврежденный разум породил целые вселенные, полные страдающих существ. И эти миры теперь висели на волоске от его — и теперь моего — настроения, от случайного жеста, от бессмысленного постукивания. Мы играли на органе, не зная, какие трубы за какие клавиши отвечают. И пока она радовалась, что нашла способ нажимать на клавиши, я слышал, как где-то вдалеке рушатся города от наших неумелых аккордов.

— Елена, — голос мой был тихим, но он заставил её оторваться от планшета. В нем не было прежней иронии. Только усталость и страх. — А что, если это не «стимуляция»? Что, если мы не буддируем его... а дирижируем им?

Она нахмурилась, ее брови сошлись в строгую линию.

— Дирижируем? Ты о чём? Его мозговая активность — это просто сложные паттерны возбуждения нейронов. Хаотичные, но подчиняющиеся определенным статистическим законам. Мы учимся их модулировать внешними воздействиями. Говорить на его языке, чтобы разбудить. Это все.

— А если он не хочет просыпаться? — выпалил я, и слова понеслись сами, как будто их выталкивало наружу что-то, сидевшее во мне глубже разума. — Если то, что там, внутри, в этих «хаотичных паттернах»... это не шум, а работа? Сложная, тонкая, чудовищная по масштабам работа по строительству и поддержанию целых миров? И наше «дирижирование» — это как ворваться в чужую мастерскую, где гений ваяет из мрамора непостижимые скульптуры, и начать тыкать в незаконченную статую палкой, потому что нам кажется, что мастер спит и ему нужно помочь проснуться? А мы при этом не понимаем ни замысла, ни инструментов, ни того, что наше тыканье может обрушить всю композицию!

Она замерла. На секунду в её глазах, этих глазах из стали и льда, мелькнуло сомнение, растерянность ребенка, которому показали, что его любимая игрушка на самом деле — живое существо. Но тут же, как броня, опустилась железная логика, закаленная годами медицинской практики, где все просто: есть диагноз, есть протокол, есть цель.

— Его картина, Вадим, — это медленная смерть мозга и физическое угасание тела. Клиническая картина. Всё

остальное — поэзия. Красивая, страшная, захватывающая поэзия твоего воображения и, возможно, каких-то остаточных процессов в его коре. Но она мешает действовать. Мешает увидеть пациента. Мешает попытаться его спасти. Я не позволю поэзии убить моего отца.

Она отключила приборы, стала снимать с меня датчики. Присоски отлипали с болезненным щелчком, оставляя на коже красные круги, как следы от присосок кальмара. Каждый щелчок был как разрыв связи. Я снова стал просто санитаром в застиранном халате, пахнущем хлоркой и потом. Техник молча упаковывал оборудование, избегая моего взгляда.

— Завтра продолжим, — сказала она, уже собирая планшет в кожаную сумку. — Мы на правильном пути. Я это чувствую. Данные обнадеживают. Мы составим протокол. Найдем ключ.

Когда она ушла, я остался один в подсобке. Полумрак. Запах старой бумаги и пыли. Я закурил. Руки дрожали так, что я с трудом прикурил. Я закрыл глаза — и попытался поймать эхо. Эхо кристального звона с планеты, которой нет, эхо той простой, прекрасной мелодии. Я не мог этого сделать сознательно. Только смутное, давящее чувство в груди, тяжесть, как будто я проглотил солнце. И осознание. Осознание грубой, чудовищной силы, которой я случайно овладел. Силы не будить. Силы творить. Силы быть со-творцом в кошмаре, который кто-то выдумал во сне.

И самый страшный вопрос родился не тогда, когда я пред-

ставлял чёрную дыру, пожирающую смысл. Он родился сейчас, в тишине подсобки, под мерный гул холодильника с медикаментами: что лучше для Вселенной Невского? Для тех, кто там, в его снах, плачет и смеется, строит города и хоронит близких? Бессознательный, но стабильный кошмар с редкими, случайными проблесками чуда, вроде той мелодии? Или осознанное, но слепое, грубое вмешательство двух «богов», один из которых видит только нейроны и хочет вернуть труп к жизни, а другой боится собственной тени и не знает, куда деть эту неожиданную власть?

Я не знал ответа. Ответа не было. Была только бесконечная лестница вопросов, уходящая в темноту.

Но я знал, что завтра приду. И снова надену эти датчики. Позволю прилепить к себе эти липкие кружочки. Буду стоять у кровати, говорить бессмысленные фразы, стучать ритмы. Потому что, как ни парадоксально, только теперь, став инструментом, пешкой в чужом эксперименте, проводником в чужие сны, я почувствовал, что впервые за долгие годы делаю что-то настоящее. Что-то, что имеет вес. Даже если этот вес — тяжесть целых миров на моих плечах. Даже если это настоящее — игра в кости с судьбой миллиардов призрачных жизней, ставка в которой — моя собственная душа и душа спящего титана, что лежит в палате 314.***

А на планете Кель люди впервые за долгое время уснули не под вой ветра в руинах и не в гнетущей тишине страха, а под тихую, небесную колыбельную, что лилась из геометрии

ческого символа в небе. Им снились сны. Сны о свете. О тепле. О формах, полных смысла. Сны, от которых они просыпались с улыбкой и слезами на глазах. Они не знали, что их утешение, их надежда, их новая религия — это всего лишь побочный эффект эксперимента по оживлению трупа в далекой, чужой реальности. Результат ритмичного постукивания санитара по тумбочке. Они не знали, что их боги — это уставший мужчина с обрубленными ногтями и его одержимая дочь, которые сами не знают, что творят.

Они просто были благодарны. И в своей благодарности, в своей новой вере, они начинали меняться. Начинали строить новые инструменты, чтобы лучше слышать музыку. Начинали вырезать из камня символы, похожие на тот, что в небе. Их мир, почти умерший, начинал медленно, робко оживать. Не от тепла звезды. От тепла чужого, нелепого, слепого, но такого настоящего сочувствия.

И где-то в глубине своего вегетативного сна, в ядре своей вселенной, Илья Невский, может быть, впервые за многие годы, улыбнулся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.